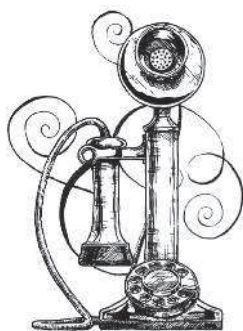


Мелуфры, дневники, письма

Евгений Шварц

*Ленинградская
телефонная книжка*



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
ШЗЗ

Дизайн серии Григория Калугина

В оформлении книги использованы
иллюстрации из фондов РГАЛИ, РИА Новости

Предисловие Вадима Перельмутера

Комментарии Ксении Кириленко

Шварц, Евгений Львович

ШЗЗ Ленинградская телефонная книжка / Евгений Шварц; предисл.
В. Перельмутера, коммент. К. Кириленко. — М.: Издательство АСТ,
2019. — 544 с.; ил. — (Мемуары, дневники, письма)
ISBN 978-5-17-114625-2

Евгений Шварц – прозаик, сказочник, драматург, сценарист – в этой книге предстает как автор дневниковых воспоминаний, которые публиковать не собирався, потому что писал о тех, кто еще был жив. Писал для себя, вспоминал, листая страницы телефонной книжки по алфавиту, дорогих его сердцу людей. А их набралось почти двести. Это артисты, писатели, художники, музыканты, режиссеры, философы, врачи – те, кто составлял интеллектуально-культурный спектр жизни автора. Среди них В. Каверин, Н. Заболоцкий, Г. Козинцев, И. Хейфиц, Н. Черкасов, А. Райкин, Н. Альтман и многие другие.

Динамичные, пунктирные воспоминания Шварца пересыпаны различными историями, уникальными разговорами и рассуждениями о том или ином явлении жизни, бытовыми сценками и написаны для того, чтобы не дать всему этому исчезнуть в потоке времени, сохранить то, что обычно не попадает в мемуары.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-114625-2

© Е.Л. Шварц (наследники), 2019
© В.Г. Перельмутер, предисловие, 2019
© Е.И. Исаева, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

«По мере сил подробно и точно...»

Нет ничего печальней, чем жить
в интересное время.

Станислав Ежи Лец

...Несколько человек проволокло свое умение
работать через все столетия, что уместились
между двадцатыми и пятидесятыми годами.

Евгений Шварц

Он был из тех — *нескольких*...

В пятьдесят четвертом, едва мучительно оправившись от первого инфаркта, Шварц завершил одну из лучших — и самых светлых — своих пьес — «Обыкновенное чудо».

Несколько месяцев спустя, в середине января пятьдесят пятого, — в «Дневнике» — была сделана первая, начальная запись «Телефонной книжки» — про Николая Акимова.

«Слава безумцам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто они бессмертны, — смерть иной раз отступает от них...» — восклицает в приближающейся к развязке пьесе ее Хозяин — волшебник.

И это, по-моему, вовсе не случайно перекликается с тем, что побудило Шварца без малого полтора года, изо дня в день, писать в дневнике про обитателей старой, затрепанной телефонной книжки своей, по алфавиту, буква за буквой, страница за страницей.

Мне представляется, что во время и после болезни, реальной угрозы жизни, он впервые *всерьез* задумался о том, что его *не будет*. Как не будет и всех тех, в чьем окружении — ближнем и не очень — он живет.

Мы все знаем это, но *всерьез* впервые задумываемся о том — всегда — внезапно. И мысль та в нас остается, пусть и отодвинутою на периферию сознания, ведь иначе она начнет *искажать жизнь*.

Спустя два месяца после начала записей он, перечитывая уже сказанное, обозначает — для себя, разумеется, потому — с *нескольких*

попыток, *что* происходит: «...Я пишу о живых (sic! — В.П.) людях, которых рассматриваю по мере сил подробно и точно, словно явление природы. Мне страшно с недавних пор, что люди сложнейшего времени, под его давлением принимавшие или не принимавшие сложнейшие формы, менявшиеся незаметно для себя, или упорно не замечавшие перемен вокруг — исчезнут. Нет, проще. Мне страшно, что всё, что сейчас шумит и живет вокруг, — умрет, и никто их и словом не помянет — живущих. И это не вполне точно. Мне кажется, что любое лицо — это историческое лицо — и так далее, и так далее. Вот я и пишу, называя имена и фамилии исторических лиц».

Так *жанр* возникает из самой *формы* (не наоборот, потому что *поиски формы* обычно происходят внутри жанра, даже такого — привычного читателю и сложнейшего для автора, как мемуары, ведь неповторимость *твоей* жизни не хочет, не должна укладываться в чужую, уже до тебя существующую *раму*), из *формы* телефонной книжки, где ни одна из записей не упорядочена ничем, кроме алфавита, не вычеркнута и не *отредактирована* эмоциями памяти.

Почти двести имен. Диапазон *персонажей*: театр (больше всего), литература, кино, живопись, музыка, философы, врачи, то бишь чуть ли не весь интеллектуально-культурный *спектр* этой самой живой жизни автора. При этом, как бы само собой, обозначается отношение Шварца к театру, кино, литературе, живописи, музыке etc — и его отношения с ними.

Плюс записи телефонов *деловых* — «Аэропорт», «Детиздат», «Кино-студия», «Литфонд», «Союз писателей» etc.

Об одних — подробно, несколько дней, разворачивая повествование в чуть ли не отдельный, самостоятельный сюжет с отступлениями в собственные переживания-впечатления, с припоминаниями — каково ему бывало в тех или иных ситуациях.

О других — короче: страница, полторы, от силы — две. Об артистах, о режиссерах, с которыми работал при постановках своих пьес и съемках фильмов. О писателях и художниках, с коими встречался нечасто, не особенно сближаясь, соседях по дому или недолгих спутниках-соседей в летних, дачных прогулках. Об эпизодических коллегах по работе в журналах etc.

О третьих — всего несколько строк, звонки к ним были редкими и, так сказать, сугубо деловыми. Правда, тут не без исключений. Например,

фамилия ветеринара, вскользь упомянутая, по ассоциации выкликает из памяти целую многолетнюю историю о кошках, об их участии — и роли — в жизни семьи Шварца. Или имя телефонного техника, за которым следует рассказ о телефонах, начиная с первого, во всех менявшихся жилищах автора. И, мне кажется, не без удивления Шварц обнаруживает, что помнит все их номера. А домашний телефон в ту пору был далеко-далеко не в каждой квартире...

Так сама *форма* этих воспоминаний начинает всё более энергично участвовать в их *содержательности*. Потому что многое, по моему впечатлению, чуть ли не добрая половина рассказанного, не возникло бы отчетливо из памяти без импульсов, которые дала эта телефонная книжка.

Мы не знаем *всего* содержимого своей памяти. И удивляемся, когда всплывают эпизоды, вроде бы вовсе незначительные, «случайные», которые ей, памяти, и хранить-то с чего бы? Причем *дальнее* неожиданно оказывается отчетливей, подробней *ближнего*. Память слоиста. Ее время не совпадает с *физическим*. Оно обратимо. У памяти есть нечто вроде *обратной перспективы*. Ее *дальний план* — не только на равных, но и подчас *реальней* ближнего. Быть может, потому, что тогда память еще была просторней, в ней меньше — и лучше — хранилось и не так *искажалось* дальнейшим. И нужен внятный импульс, чтобы извлечь, нет, скажу точнее, извлеклось то, что ему отзывается.

У Шварца такими импульсами становятся имена.

Так возникает уникальный жанр — воспоминания о *живых*. Динамичные — пунктирные — воспоминания о своей жизни, написанные про тех, среди кого эта самая жизнь происходила и происходит. Людей (и «организаций-учреждений») — и значительных, и возникавших эпизодически, почти вскользь, но *хваткой художника* зафиксированных, извлекаемых из памяти, благодаря именам-импульсам, выкликающим из лабиринта памяти те или иные происшествия, события, случаи. Многие из коих, повторю, вполне вероятно, даже и не проявились бы, кабы не «Телефонная книжка».

Вот он припоминает о встречах с замечательным дирижером Куртом Зандерлингом. То, застав его на прогулке за увлеченным чтением

на ходу какого-то фолианта, спрашивает — что читает. И тот открывает, показывает собеседнику разворот испещренной значками партитуры. То заходит разговор «о неслыханной производительности Баха», и Шварц удивляется, «почему у протестанта Баха есть мессы». И Зандерлинг рассказывает о ссоре Баха с герцогом, у которого служил, и про то, как, получив предложение стать придворным композитором и органистом католического дрезденского *двора*, написал для него мессу. И про то, что он «оставил почти восемьсот опусов». А на восхищение Шварца удивительными людьми восемнадцатого века возражает: «Просто Бах думал, что он ремесленник. Романтики брали отсюда (и Зандерлинг указал на сердце), а Бах отсюда (и Зандерлинг развел широко руками). У Баха не опускались руки перед величием музыки. Он думал, что он ремесленник».

И возникает из краткого этого пояснения — не больше и не меньше — великолепное знание истории европейской культуры, не только музыки, *цеховая* атмосфера восемнадцатого столетия.

И не только слова вспоминаются внятно, но и образ говорящего, его интонация и жесты...

Или мимолетная беседа с задумчивым Натаном Альтманом. И тот поведал, что на днях принимали в Союз художников молодую художницу, которую Альтман горячо рекомендовал. А выступивший следом президент Академии художеств Владимир Серов обрушился на Альтмана за то, что тот, дескать, сказал, будто его кандидатка на вступление в Союз выделяется «на сером ленинградском фоне». На что Альтман кротко возразил: «Я не говорил, на сером ленинградском фоне. Я сказал — на нашем сером фоне»...

Или — в обширном фрагменте о Вениамине Каверине — рассказ о том, как приехали однажды к нему на дачу (по соседству с дачей Каверина) Хармс, Олейников и Заболоцкий. И — про них: «Он (Каверин. — *В.П.*) уважал их... как интересных писателей, ищущих новую форму, как и сам Каверин. А они не искали новой формы. Они не могли писать иначе, чем пишут. Хармс говорил: хочу писать, чтобы было чисто. У них было отвращение ко всему, что стало литературой. Они были гении, как сами говорили, шутя. И не очень шутя. Во всяком случае, именно возле них я понял, что гениальность — не степень одаренности, или не только

одаренности, а особый склад всего существа. Для них, моих злейших друзей тех лет, прежде всего просто-напросто не существовало тех законов, в которые свято верил Каверин. Они знали эти законы, понимали их много органичнее, чем он, — и именно поэтому, по крайней правдивости своей, не могли принять. Для них это была литература. Пользуясь ими, они лгали бы. Они правдивы прежде всего, сами того не создавая, удивляясь, когда их не понимают»...

Называет обэриутов «злейшими врагами» из всех своих друзей — и задолго, чуть не за полвека до утвердившихся ныне оценок и мнений, пишет о *природе* и *причинах* того, что и как они писали.

Пишет, зная о трагических судьбах, ведь к середине пятидесятых из троих жив лишь Заболоцкий...

Во всех этих телефонно-книжных записях Шварц и впрямь рассматривает людей, о которых говорит, «по мере сил подробно и точно, словно явление природы». Без мысли о том, что записи эти станут *книгой*, по крайней мере — до тех пор, пока все *персонажи* живы. Да и пока он, автор, жив. И ничуть не лукавит, говоря, что — единственно — хочет сохранить, не дать им всем исчезнуть в потоке времени, *не быть* бесследно, беспмятно. И еще — сохранить то, что обыкновенно не попадает в посмертные мемуары — как не особенно значительное, либо почти, по мнению авторов, *бестактное*, что ли...

А после смерти, как говорил Карамзин, «нет лжи».

Подчас он откровенно нелицеприятен. Когда искренне огорчен, расстроен тем, как распорядилась человеком судьба, верней сказать, как он судьбой своей распорядился.

Ну, например, популярнейший киноартист Павел Кадочников.

«Когда я с ним познакомился, был человеком. В середине тридцатых годов я встречал его в Новом ТЮЗе. Тогда он был артист настоящий, с тем послушным воображением, что так удивляет и превращает искусство в чудо. Совсем еще мальчик, играл он старика в одной пьесе моей, вставляя свой текст, против которого не поспоришь, а только удивляешься и радуешься. Играл во всю силу, радуясь ей и заражая своей радостью... Но у Кадочникова случилась беда — он прославился. В кино... Он привлекателен и понравился зрителям. И его пригласили, еще сниматься, и еще, и еще. Театр он бросил, а в кино играл всё одно и то же.

И люди на улицах его узнавали, он получал сотни писем и поверил, что он такой и есть, и кончился... И он всё улыбался, неудержимо, как влюбленный. А предметом любви был он сам... Был человек, и нет. Осталась чертова кукла»...

Или — про известного, «заслуженного» литературоведа: «...Настоящего понимания литературы он лишен. Возможно, так и предполагается, но я не понимаю литературоведа, в котором не осталось хоть сколько-нибудь читателя. А у него тут врожденная граница, до нескромности видимая».

Или — про поэта, некогда бывшего поблизости от акмеистов, пережившего их, кроме Ахматовой, и, в отличие от нее, издавшего множество книжек стихотворных сочинений, вполне приемлемых для советской власти: «Поэт. Сильно шепелявит... Человек высокой культуры. А цвет лица серый. Владеет отлично языками. За всю жизнь не написал ни одного живого слова... Он живет себе в своем подвале из моржовой кости».

Впрочем, таких огорчительных *частностей* среди записей немного. Однако и говоря о людях, с которыми его связывала длительная приязнь, а то и дружба, как Николай Акимов, Михаил Слонимский, Анна Лепорская и другие, таких немало, тут ему везло, Шварц не оставляет за пределами страниц и неловкие ситуации, в которые те попадали, и некоторые *неудобные* — для общения — черты характера, и те *перемены* не к лучшему, какие происходили в них с годами. Пишет — «как о явлениях природы».

И сетует: «Ужасно трудно бороться с дальнороркостью. Ну как можно описывать близких знакомых. Таких близких, что жалко задеть. Не смеешь задеть»... Однако подчас *задевает*, хотя, естественно, о переменах в *близких* пишет мягче, сочувственней, чем в *дальних*. Хотя и тут подчас становится понятно, почему с годами от некоторых из них *отдалился*...

Кстати — о некоторых — серьезнейших — причинах подобных *перемен*.

В книжке — телефон Союза писателей.

Я хочу привести целиком эту недлинную запись, дабы она не проскользила при чтении толстой книги без пристальности, какой, по-моему, заслуживает.

«Союз писателей стоит дальше в телефонной книжке. Появился он на свет в 1934 году, и вначале представлялся дружественным после загадочного и всё время раскладывающего пасьянсы РАППа. То ты попал в ряд попутчиков левых, то в ряд правых, — как разложится. Во всяком случае, так представлялось непосвященным. В каком ты нынче качестве, узнавалось, когда приходил ты получать паек. Вряд ли он месяца два держался одинаковым. Но вот РАПП был распущен. Тогда мы еще не слишком понимали, что вошел он в качестве некоей силы в ССП, а вовсе не погиб. И года через три стал весь наш союз раппоподобен и страшен, как апокалиптический зверь. Все прошедшие годы прожиты под скалой “Пронеси, Господи”. Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты не мог помочь ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумленными. Сколько погибших друзей, сколько изуродованных душ, изуверских или идиотских мировоззрений, вывихнутых глаз, забитых грязью и кровью ушей. Собачья старость одних, неестественная молодость других: им кажется, что они вот-вот выберутся из-под скалы и начнут работать. Кое-кто уцелел и даже приносил плоды, вызывая недоумение одних, раздражение других, тупую ненависть третьих. Изменилось ли положение? Рад бы поверить, что так. Но тень так долго лежала на твоей жизни, столько общих собраний с человеческими жертвами пережито, что трудно верить в будущее. Во всяком случае, я вряд ли дотяну до новых и счастливых времен. Молодые — возможно».

Запись датирована десятым июля пятьдесят шестого. Уже прошел XX съезд партии, подведший, как увиделось всем, *черту* под десятилетиями сталинизма. И Шварц пишет, в сущности, о том же, правда, не без сомнений в будущем...

И немного о том, чего в этой «Телефонной книжке» нет. Нет записок о некоторых *персонажах*, о ком счел достаточным сказанное прежде на страницах дневника, повторяться не стал. Нет рассказа о Николае Чуковском, с которым дружил всю жизнь, — пояснил: «О Коле Чуковском писать не могу. Слишком близкий знакомый». Тут уж с *дальнозоркостью* ничего не поделаешь.

И нет — о Корнее Чуковском. Лишь мимолетное упоминание (в тексте о Михаиле Слонимском): «Побывал я секретарем у Чуковского, но и это меня не приблизило по-настоящему к литературе».

Едва ли телефон Корнея Ивановича был в Ленинграде Шварцу неведом — он ведь бывал у Чуковского в середине двадцатых, уже «приблизившись по-настоящему к литературе». А про двадцать второй год, тот самый, в каком «побывал секретарем», к поре, когда начал «Телефонную книжку», он уже написал. Мемуарный очерк «Белый волк».

Много позже Вениамин Каверин назвал этот очерк статьей, «осуждающей» Чуковского. И ошибся. Там нет «осуждения». Есть воспоминания о тех незабываемо — и неожиданно — резких впечатлениях, которые произвел на двадцатипятилетнего вчерашнего театрального артиста, еще не выбравшего, не ведающего своего дальнейшего пути в жизни, этот уже знаменитый, сорокалетний писатель. Воспоминания, написанные, «как о явлениях природы». Не очень-то совпадающие со сложившимся впоследствии *образом* Чуковского, к сотворению которого и сам Корней Иванович изрядно впоследствии руку приложил.

А каким иным мог увидеть его Шварц в том году, который сам Чуковский подытожил в «Дневнике» вот так: «1922 год был ужасный год для меня, год всевозможных банкротств, провалов, унижений, обид и болезней. Я чувствовал, что черствую, перестаю верить в жизнь, и что единственное мое спасение — труд. И как я работал! Чего я только не делал! С тоскою, почти со слезами писал “Мойдодыра”. Побитый — писал “Тараканище”. Переделал совершенно в корень свои некрасовские книжки, а также “Футуристов”, “Уайльда”, “Уитмэна”. Основал “Современный Запад” — сам своей рукой написал почти всю Хронику 1-го номера, доставал для него газеты, журналы — перевел “Королей и капусту”, перевел Синга, — о, сколько энергии, даром истраченной, без цели, без плана! И ни одного друга! Даже просто ни одного доброжелателя! Всюду когти, зубы, клыки, рога!»

Вот это состояние, в котором все и всё вокруг враждебно, мешает работать, то есть жить, описано Шварцем, по-моему, замечательно. «По мере сил подробно и точно»...

Чуковский, судя по всему, и к «секретарю» своему относился тогда так же — как к неизбежно-досадной, безымянной помехе: в «Дневнике» его Шварц впервые упоминается лишь три года спустя — когда приходит

«По мере сил подробно и точно...»

к нему в гости уже работающим в детской литературе, вместе с Юрием Тыняновым...

Перечитывая теперь «Ленинградскую телефонную книжку», думаю, что именно «Белый волк» помог Шварцу найти, определить нечто вроде ключа к ее сочинению. Интонацию, которая пришлась впору и в меру этой книге.

Воспоминаниям про *обыкновенное чудо* жизни художника. Среди людей.

P.S. По-моему, необходимо почтить, предваряя эту книгу, память замечательного архивиста и текстолога Ксении Николаевны Кириленко, ее долгий труд, нелегкое прочтение толстенной рукописи, далеко не всегда с ходу разборчивой, — дневников Евгения Шварца, перепечатку и комментирование, подготовку значительной части этих дневников к публикации двадцать восемь лет назад. А затем, восемь лет спустя, извлечение оттуда, превращение в книгу «Телефонной книжки».

Вадим Перельмутер

1955 год

19 января

Хотел затеять длинную работу: «Телефонная книжка». Взять нашу длинную черную книжку с алфавитом и, за фамилией фамилию, как записаны, так о них и рассказывать. Так и сделаю.

Акимов. О нем говорил не раз: ростом мал, глаза острые, внимательные, голубые. Всегда пружина заведена, двигатель на полном ходу. Все ясно в нем. Никакого тумана. Отсюда правдивость. Отсюда полное отсутствие, даже отрицание магического кристалла. Через него в некоторых случаях художник различает что-то там неясно. Как это можно! Жаден до смешного в денежных делах. До чудачества. Даже понимая, что надо потратиться хотя бы на хозяйство — отдаст деньги не с вечера, а утром, когда уже пора идти на рынок. Знает за собой этот порок. Однажды я осуждал при нем скупую женщину.

20 января

И он возразил: «Не осуждай, не осуждай! Это страсть. Не может человек заставить себя расстаться с деньгами — и всё тут». Так же, говоря о ком-то, признал: «Он, как умный человек, позволяет себе больше, чем другие». И то, и другое высказывание нечаянное признание. Я не раз замечал, что художники скуповаты. Возможно, оттого, что уж слишком связаны с вещью. Но Акимов жаден еще и до власти, до славы, до жизни и, как человек умный, позволяет себе больше, чем другие. Жаден до того, что не вылезает из драки. Есть множество видов драки. Теперь в театральных кругах победил вид наиболее мучительный для зрителя: вцепившись в противника когтями, разрывая пальцами рот, ударяя коленом в пах, борец кричит: «Необходима творческая среда!», «Без чувства локтя работать невыносимо!», «Социалистический реализм!», «Высокая принципиальность!», «Не умеют у нас беречь людей!» — и так далее.

Акимов в драке правдив, ясен и смел до того, что противник, крича: «Мир хижинам, война дворцам!» или нечто

подобное, — исчезает. Охлопков любит говорить, что наше время подобно эпохе Возрождения: сильные люди, борьба страстей и так далее. Эта поэтическая формула разрешает ему куда больше, чем позволяет себе умный человек. Единственный боец, на которого я смотрю в этой свалке с удовольствием, — Акимов. Он не теряет чувства брезгливости, как безобразник эпохи Возрождения, не кричит, кусая врага: «Прекрасное должно быть величаво» (или «Призрак коммунизма бродит по Европе») и, наконец, он чуть ли не единственный имеет в своей области пристрастия, привязанности, обнаруживает чуть ли не гениальное упорство. Правдив, правдив! Любит он и женщин. Иной раз кажется мне, что, помимо всего прочего, и тут сказывается его жадность — к власти, к успеху. Любит и вещи, как Лебедев, но с меньшей строгостью, традиционней. Я с ним никогда, в сущности, не был дружен — мы несоизмеримы. Я отчетливо, и он, думаю, тоже понимает всю противоположность наших натур. Но жизнь свела нас, и я его чувствую как своего и болею за него душой.

21 января

В случае удач его мы встречаемся реже, потому что он тогда занят с утра до вечера, он меняет коней — то репетирует, то делает доклады в ВТО, то ведет бешеную борьбу с очередным врагом, то пишет портрет, обычно с очень красивой какой-нибудь девушки. И свалить его с ног могут только грипп, или вечный его враг — живот. Вот каков первый из тех, что записан в моей телефонной книжке. Среди многих моих друзей — врагов он наносил мне раны, не в пример прочим, исключительно доброкачественные, в прямом столкновении, или прямым и вполне объяснимым невниманием обезумевшего за азартной игрой банкомета. Но ему же обязан я тем, что довел до конца работу, без него брошенную бы на полдороге. И не одну. А как упорно добивался он, чтобы выехали мы в блокаду из Ленинграда. Впрочем, бессмысленно тут заводить графы прихода и расхода. Жизнь свела нас, и, слыша по телефону знакомый его голос, я испытываю сначала удовольствие. И только через несколько минут — неловкость и скованность в словах и мыслях, — уж слишком мы разные люди.